

\*\*\*

*Ольге Шенфельд*

Беспомощны земного языка  
слова. Глядят усопшие поэты  
на все потуги жалкие. Река  
забвения течет. И вновь воспеты

все прелести иного бытия,  
не видно ни луны, ни звёзд, ни солнца,  
летает птица, ползает змея  
и входит смерть в убогого чухонца.

В приюте, бесконечно одинок,  
рыдая от отчаянья и злобы,  
страдает мастер. Барщину оброк  
не заменяет. Рвется из утробы

земли на волю рыцарь. Не сражён-  
ный в ратном поле – дланью командора  
повергнутый за всех неверных жён –  
дурная жертва каменного вздора.

А в призрачной, заплаканной дали,  
в стране туманов, за краюху хлеба,  
слепой старик считает корабли,  
стекающие с выцветшего неба...

\*\*\*

*Борису Молóдому*

Мне еженощно эта сцена снится:  
пророк упрям, рассудку вопреки.  
Устало бессловесная ослица  
ему речёт. Течение реки

уносит чёлн. Команда сушит весла.  
В китовом чреве жарко и темно.  
Веселый царь, прославивший ремесла,  
в Европу рубит тусклое окно,

Любая власть, как руки брадобрея,  
противна нам. Верней, тебе и мне.  
Девичий стан, в исподнем потном прея,  
опять в туманном движется окне.

Слезятся пьяниц крохотные глазки,  
растоптан венчик из белесых роз.

Толпа чудовищ, вырвавшись из сказки,  
исходит гноем злобы и угроз

\*\*\*

*Лэди Виктории Джейн*

Из зеркала смотрит изысканный труп,  
кидается век-волкодав,  
безумный поэт, непорочен и глуп,  
пихает как шапку в рукав

бесплодную шубу сибирских степей,  
давно обмелевший Байкал.  
Свисают тела с оголенных ветвей,  
рыдает гармошка и кал

налип на сапог. Или это сапог  
в него, не подумав, вступил.  
Хрипит трубадур. Задыхается рог  
и черви ползут из могил.

А мы не способны ни петь, ни терпеть,  
ни думать, ни плакать, ни жить.  
Хохочет палач. Развевается плеть.  
Судьбы обрывается нить...

\*\*\*

*Борису Кокотову*

Когда, ожив, тревожится строка,  
последнее подыскивая слово,  
и женщина за гранью сорока,  
смеясь, пуститься в тяжкие готова,

когда и погубить, и позабыть,  
принять и отказаться несподручно,  
и тошно быть, и боязно не быть,  
и скучно с жизнью, и со смертью скучно,

когда наедине с самим собой  
не хочется. Точнее – невозможно.  
Когда проигран выигранный бой,  
и память озирается тревожно,

тогда, духовной жаждою томим,  
я пару строчек вписываю в мим...

\*\*\*

*Сергею Александровскому*

Давайте так: пусть слово дико,  
но мне ласкает слух оно.

Девичий стан бредет безлико  
и лезет в мутное окно.

Но мы предтеч не забываем,  
иль это только снится мне:  
лицо, как вымя под трамваем,  
в туманном движется окне.

Придумать новое не в силах,  
не в силах старое забыть,  
мы ковыряемся в могилах,  
а в чистом поле волчья сыть

пойдет направо – песнь заводит,  
налево – сказку говорит,  
и кот ученый рядом бродит,  
и что-то странное твердит.

В бараний рог судьбою скручен,  
он рвёт когтями тишину,  
а волк, похмелием измучен,  
тоскливо воет на луну...

\*\*\*

*Александру Сергеевичу, Фёдору Кузьмичу  
Арсению Ивановичу, Шарлю Пьеру и сэру  
Артуру с земным поклоном.*

...поэт закрывает вежды,  
и все же, ему близка  
бессмысленная надежда,  
безропотная тоска.

В печальной стране туманов  
суметь ли найти уют?  
Под бубны слепых шаманов  
мне дело зачем-то шьют.

Игрой наважденья злого,  
под тяжестью навьих чар,  
нас тихие дети снова  
пошлют добывать анчар.

Безрадостно и устало,  
пронзённый стрелою дня,  
пойду, где стаи шакалов  
поют строку из меня,

пойду, (не грезит ли ухо,  
стрелой отравлено дня?)  
туда, где с косою старуха  
ворчит строку из меня...

\*\*\*

*Александру Кузьменкову*

Возможно, я не прав. Судьба моя  
подсказывает: бунт всегда без толку,

и медсестра, ухмылки не тая,  
воткнёт мне в вену ржавую иголку,

а санитары, дружно гогоча,  
внесут в палату пьяного врача.

Врач на меня угрюмый бросит взгляд  
и рявкнет: «Всё права качаешь, гад?»

И харкнет мне в лицо благою весть:  
«Отвести его в палату номер шесть!»

\*\*\*

*Виталию Кравченко*

Ах, знакомый до слез Ленинград-Петербург,  
до прожилок знакомый веселый хирург.

Он на лестнице черной мне вскроет живот  
и швырнет потроха на гнилой эшафот.

А потом, развернувшись, мне всадит в висок  
кем-то вырванный с мясом беззвучный звонок.  
Чтобы я возвращаться сюда не хотел  
и спокойно лежал в окружении тел.

И зловещему дегтю был искренне рад.

Ах, знакомый до слез Петербург-Ленинград...

\*\*\*

*Владиславу Пенькову*

Всё чаще мне является во сне  
мой кредитор, который должен мне.

И вижу я во сне и наяву,  
что я не жив, хотя еще живу.

Что груз долгов моих мне не поднять,  
что на меня наложена печать.

Меня зовут. Мне говорят – пора.  
Неотличимо завтра от вчера.

Вокруг меня кольцо бесплотных рук,  
но светел мрак, струящийся вокруг.

Мерещится в конце туннеля свет,  
но нет туннеля. Света тоже нет.

И все равно, я знаю, это – так:  
пусть мрак вокруг, но светел этот мрак.

\*\*\*

*Сергею Слепухину*

Мне снова приходит пора умирать  
и я выхожу на мороз,  
и пьяный прохожий, еби его мать,  
подносит мне венчик из роз.

Стуча каблучками, проносятся по  
затопанной мной мостовой,  
шалавы, укравшие пудру в сельпо,  
и волчий разносится вой.

А в небе плывет невидимка-луна  
и конь одичалый хрипит,  
а по морю бродит седая волна,  
и легкие душит плеврит.

Купец краснорожий, не весел, но пьян,  
на тройке влетает в овраг.

Он в каждой девице находит изъян,  
себе, одинокому, враг.

Угрюмый могильщик, забыв инструмент,  
зубами корежит гранит,  
и ловко поймав подходящий момент,  
мгновенье под спудом хранит.

И вновь педераст за туманным окном,  
под детские вопли и плач,  
бежит, озираясь, при этом тайком  
сухой пожирая калач.

А я на слепом выезжаю коне  
к распутию неясных дорог  
и вдруг открывается истина мне,  
и я выхожу на порог,

и я без пальто выхожу на мороз,  
и снова пора умирать,  
и снова подносит мне венчик из роз  
прохожий, еби его мать...

\*\*\*

*Елене Галат*

Я снова стремлюсь в никуда ниоткуда,  
не ведая жалости, боли и слез,  
хрипит, задыхаясь, распятый Иуда  
и прячет улыбку спасенный Христос.

И демонов грустных печальные лики,  
и ангельских полчищ ликующий вой,  
проклятья, мольбы и беззвучные крики  
остались давно у меня за спиной.

Вот так и иду в никуда ниоткуда,  
к своей равнодушен беде и судьбе,  
готовый повиснуть в петле как Иуда,  
не нужный давно ни тебе, ни себе.....

## **ЗАРИСОВКА**

**Н.А.З.**

Младой пастух, забыв про свой рожок,  
кусает ассирийский пирожок.

Лежат на полке бабкины клыки,  
русалка выползает из реки,  
в кустах овцу насилует овчар,  
и пышет ядом дерево анчар...

Порхает в небе птица воробей,  
в полете избавляясь от скорбей,  
бегут цыгане шумною толпой,  
чугунный хлеб повис над головой,

везет чуму корабль из дальних стран,  
на землю опускается туман  
и доктор, с выражением лица,  
втыкает скальпель в ухаля-купца...

\*\*\*

*Вере Хорват*

Бурлюк один не вытянет баржу.  
Костер, туман, гадалки злые речи.

Я вдовьей кармы груз переложу  
на голубями засранные плечи.



А небесам на каменной руке  
Приапа, скажем прямо, неприлично.

На сцене шут в павлиньем пиджаке  
ревет и стонет, и хрипит привычно

под три аккорда томный старичок,  
держат махину – тяжкая работа,

уходит в даль последний морячок  
и узок брег. Два старых идиота,

сведя колени, лезут на Парнас,  
толпа кухарок им с восторгом внемлет,

на трон садится пьяный Фортинбрас  
и дивный гений в подворотне дремлет...

Поэт в России – больше, чем поэт.  
Особенно, когда шутлом одет.